

НЕЙТАН ХИЛЛ  
**ВЕЛНЕСС**

РОМАН

*Перевод с английского*

Анны Гайдено



phantom press

Москва

WELLNESS by NATHAN HILL

Copyright © 2023 by Nathan Hill

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Книга издана при содействии Литературного агентства Эндрю Нюрнберга и Brandt & Hochman Literary Agents

*Перевод с английского* Анны Гайденко

*Редактор* Игорь Алюков

*Оформление обложки и макет* Андрея Бондаренко

*Иллюстрации* Igot AI

В тексте упоминаются Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta Platforms Inc., деятельность которой запрещена в Российской Федерации

### **Нейтан Хилл**

Х45 **Велнесс: Роман** / Пер. с англ. А. Гайденко. — М.: Фантом Пресс, 2024. — 656 с.

Джек — нищий художник, творящий мало кому доступное искусство. Элизабет — беглянка из бансновно богатой семьи, образ жизни которой она презирует. Их окна разделены лишь узким проулком. Неделями и месяцами они подсматривают друг за другом, восхищаясь и считая, что человек в окне напротив никогда не заинтересуется тем, кто сейчас за ним наблюдает. Оба решили начать жизнь с чистого листа в Чикаго и теперь пытаются встроиться в мир, который им чужд. Оба бесконечно одиноки и мечтают о встрече с родственной душой, не подозревая, что родственная душа обитает в соседнем доме. Спустя двадцать лет Джек и Элизабет — уважаемая пара, переживающая кризис среднего возраста. Но они остались все теми же неприкаянными и одинокими мечтателями, как и в юности, и все так же сражаются с демонами, от которых когда-то хотели сбежать. Пытаясь разобраться в себе, каждый из них начинает глубинные раскопки собственной души, рискуя потерять лучшее, что у них есть, — друг друга.

Пронзительный и остроумный роман о взрослении, браке, попытках сбежать от прошлого, о том, как одержимость в стремлении стать лучшей версией себя порой заводит людей в тупик. О том, как подмена живых чувств психологическими практиками оборачивается то комедией, то трагедией. Разбирая нелепости современного общества, «Велнесс» иронично и до интимности трогательно переосмысливает классическую историю любви.

«Велнесс» — красивый, порой грустный, порой оглушительно смешной роман, но прежде всего, это честная книга о том, каким равнодушным и одновременно хрупким становится с годами человек, о том, как жизнь со временем выворачивает людей наизнанку. Это история любви и тревог нашей жизни.

ISBN 978-5-86471-977-0

© Анна Гайденко, перевод, 2024

© Андрей Бондаренко, оформление, макет, 2024

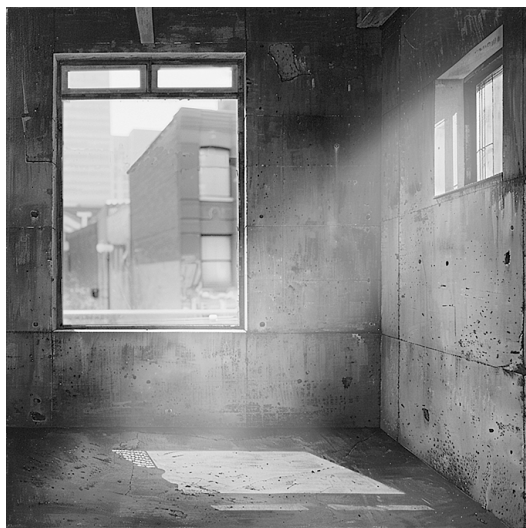
© «Фантом Пресс», издание, 2024

## СОДЕРЖАНИЕ

КАК НАСЧЕТ? .....	009
ДВЕ МАСТЕР-СПАЛЬНИ .....	049
ЭНЕРГИЯ НОВЫХ ОТНОШЕНИЙ .....	127
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ .....	167
ОТСТАВАНИЕ В РАЗВИТИИ .....	203
ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ФРОНТОНОВ .....	241
ВЕЛНЕСС .....	261
ПРЕДЫСТОРИИ .....	313
ЭФФЕКТ СМЫСЛА .....	391
НЕ БРАК, А ПЛАЦЕБО .....	437
ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ <i>Драма в семи алгоритмах</i> .....	475
ЧУДО .....	519
СКАЗКА О ДУШЕ, КОТОРАЯ БЛУЖДАЕТ В ОБЛИКЕ МЫШИ .....	565
Библиография .....	641

*Моим родителям*

# КАК НАСЧЕТ?





**О**Н ЖИВЕТ ОДИН на четвертом этаже старого кирпичного здания, откуда не просматривается небо. Из своего окна он видит только ее окно — через дорожку, на расстоянии вытянутой руки, она тоже живет на четвертом этаже другого старого здания, и тоже одна. Они не знают имен друг друга. Они никогда не разговаривали. В Чикаго зима.

В разделяющий их узкий переулок почти не проникают ни свет, ни дождь, ни снег, ни морось, ни туман, ни даже та мокрая январская крупа, которую местные называют “кашей”. Здесь темно, тихо и никогда не меняется погода. Кажется, что здесь просто нет атмосферы, что это полость, похожая на космическое пространство, вшитая в город с одной лишь целью — отделять одни объекты от других.

Впервые она явилась ему в канун Рождества. В ту ночь он лег рано, страшно жалея себя — единственного человека в этом бурлящем здании, которому некуда пойти, — когда на другой стороне улицы зажегся свет и привычную зияющую темноту сменило слабое теплое сияние. Он встал с кровати, подошел к окну, пригляделся. Там была она, вся сплошное движение, — разбирала, раскладывала вещи, вытаскивала маленькие яркие платья из больших одинаковых чемоданов. Ее окно было так близко, сама она была так близко — их квартиры разделяло расстояние в один длинный прыжок, — что он отступил на несколько шагов, чтобы спрятаться в темноте. Уселся на пол и стал смотреть, но вскоре ему показалось, что это неприлично и недостойно, и тогда он виновато вернулся в постель. Но в последующие недели он снова и снова приходил к этому окну, как в театр, — чаще, чем готов был

признать. Иногда он сидел там, невидимый, и урывками наблюдал за ней.

Сказать, что он считает ее красивой, было бы слишком просто. Конечно, он считает ее красивой — объективно, классически, *несомненно* красивой. Даже ее походка — эта свойственная ей легкость, жизнерадостный пружинистый шаг — его очаровывает. Она скользит по полу квартиры в толстых носках, время от времени кружась на месте, и подол на мгновение вздувается вокруг ее ног. Среди грязи и серости она носит платья — яркие открытые платья в цветочек, неуместные в этом убогом районе этой холодной зимой. Она зажигает свечи, устраивается в бархатном кресле, поджав под себя ноги, и держит книгу в одной руке, а пальцами другой с бесстрастным и непроницаемым видом лениво ведет по краю бокала с вином. Он смотрит, как она касается бокала, и сам не понимает, как такой маленький палец способен вызывать такие сильные мучения.

Ее квартира украшена открытками из тех городов, где она, наверное, бывала — из Парижа, Венеции, Барселоны, Рима, — и вставленными в рамки постерами с произведениями искусства, которые она, наверное, видела своими глазами: статуя Давида, “Пьета”, “Тайная вечеря”, “Герника”. Ее вкусы так разнообразны, что он чувствует себя неловко; сам он никогда не видел даже океана.

Она читает беспорядочно, когда придется, и включает желтую прикроватную лампу в два часа ночи, чтобы начать листать громоздкие учебники по биологии, неврологии, психологии, микроэкономике — или какие-нибудь пьесы, или сборники поэзии, или толстые книги по истории империй и войн, или научные журналы в безликих серых переплетах с загадочными названиями. В музыке, которую она слушает, он угадывает классическую, судя по тому, как покачивается в такт ее голова. Он щурится, чтобы разглядеть обложки книг и альбомов, и на следующий день бежит в публичную библиотеку, чтобы прочитать всех авторов, которые не дают ей спать, и послушать все симфонии, которые она постоянно ставит на повтор: “Хаффнеровскую”, “Героическую”, “Из Нового света”, “Неоконченную”, “Фантастическую”. Он представляет, что, если когда-нибудь они все-таки познакомятся, он скажет

пару слов о “Фантастической симфонии”, произведет на нее впечатление и она влюбится в него.

Если когда-нибудь они все-таки познакомятся.

Она именно такой человек — разносторонний, образованный, — которого он ищет в этом пугающе огромном городе. Но теперь он понимает: главный изъян в его плане заключается в том, что такая разносторонняя и образованная женщина никогда не проявит интереса к такому необразованному, провинциальному, отсталому невеже, как он.

Только один раз он видел, как она пригласила домой гостя. Мужчину. Перед этим она провела немыслимое количество времени в ванной, перемерила шесть платьев и в конце концов выбрала лиловое, самое облегающее. Сделала прическу. Накрасилась, смыла макияж, накрутила еще раз. Дважды приняла душ. Она стала совершенно на себя не похожа. Гость явился с упаковкой пива, пробыл у нее два часа, и казалось, что вместе им неуютно и невесело. Потом он ушел, на прощание пожав ей руку. И больше не приходил.

После этого она переделалась в старую линялую футболку и весь вечер ела хлопья в припадке внезапной лени. Не плакала. Просто сидела.

Наблюдая за ней с другой стороны их безвоздушного переулочка, он отметил, как она красива, хотя слово “красива” вдруг показалось ему слишком узким, не описывающим ее в полной мере. У красоты есть как публичные, так и частные проявления, подумал он, и одно чаще всего исключает другое. Он написал на обороте открытки с видом Чикаго: “Со мной тебе никогда не придется притворяться”. Потом выбросил эту открытку и взял другую: “Тебе никогда не придется быть тем, кто пытается стать кем-то другим”. Но так и не отправил. Он никогда ничего не отправляет.

Иногда в ее квартире темно, и в такие вечера — вечера в привычном, замкнутом пространстве — он занимается своими делами, гадая, где она.

Именно тогда она смотрит на него.

Она сидит у своего окна, в темноте, и он ее не видит.

Она изучает его, наблюдает за ним, отмечает его спокойствие, его безмятежность, его удивительную манеру часами упорно



читать, сидя на кровати по-турецки. Он всегда один. Его квартира — унылая коробка с голыми белыми стенами, книжным стеллажом из шлакоблоков и обреченным вечно лежать на полу футоном — явно не рассчитана на прием гостей. Такое ощущение, что одиночество охватывает его, как петля пуговицу.

Сказать, что она считает его красивым, было бы слишком просто. Скорее, она считает его красивым настолько, насколько сам он будто не осознает, что красив, — темная борода, прячущая тонкие черты полудетского лица, большие свитеры, скрадывающие худощавую фигуру. Его уже явно несколько лет не стриженные волосы сальными прядями спадают на глаза и доходят до подбородка. Одевается он, надо сказать, катастрофически: заношенные черные рубашки, черные же армейские ботинки и очень нуждающиеся в штопке темные джинсы. Никаких признаков наличия у него галстукон она не обнаружила.

Иногда он стоит перед зеркалом без рубашки, бледный до синевы, недовольный собой. Он очень маленький — низкорослый, хилый и тощий, как наркоман. Он перебивается сигаретами и нерегулярными перекусами, обычно это готовая еда в коробках и в пленке, предназначенная для разогрева в микроволновке, а иногда порошок, который разводится водой и превращается в нечто почти съедобное. Глядя на это, она испытывает то же чувство, что и при виде беспечных голубей, которые садятся на смертельно опасные провода над эстакадами.

Ему жизненно необходимы овощи.

Калий и железо. Клетчатка и фруктоза. Крупы грубого помола и разнообразные соки. Все, что полезно для здоровья. Она хочет повязать ананас бантиком, приложить записку и отправить ему. Каждую неделю новый фрукт. Чтобы дать ему понять: не надо так с собой обращаться.

Почти месяц она наблюдает, как татуировки плющом разрастаются по его спине, соединяются в буйство узоров и цветов, ползут вниз по тонким рукам, и думает: ну, не так уж это и плохо. На самом деле в дерзких татуировках есть что-то обнадеживающее, особенно в тех, которые видны даже из-под рубашки с высоким воротником. Она считает, что это говорит об уверенности в себе, о твердости принципов — о *наличии* у человека принци-

пов, — не то что у нее самой с ее перманентным внутренним кризисом, потому что с момента переезда в Чикаго ее мучает вопрос: кем она станет? Или, пожалуй, скорее так: какое из ее “я” — настоящее? Этот парень с вызывающими татуировками, кажется, символизирует для нее новый путь, противоположный от пугающей неопределенности.

Он художник, это ясно, потому что она часто видит, как он смешивает пигменты и красители, краски и растворители, щипцами достает фотобумагу из кювет с реактивами или склоняется над столом, изучая негативы в небольшую круглую лупу. Поразительно, как долго он может на них смотреть. Он тратит час на сравнение двух кадров, разглядывая то первый, то второй, потом опять первый в поисках идеального. Определившись, он обводит нужный кадр красным восковым карандашом, а остальные перечеркивает, и она восхищается его решительностью: уж если он выбирает фотографию, или татуировку, или божественный образ жизни, то выбирает без колебаний. Это качество, которому она — человек, неспособный определиться даже с самыми простыми вещами: что надеть, что изучать, где жить, кого любить, *что делать со своей жизнью*, — завидует и о котором мечтает. Его разум спокоен, потому что он стремится к высшей цели; она же чувствует себя горошиной, бьющейся о стенки стручка.

Он именно такой человек — смелый, увлеченный, — которого она ищет в этом чужом городе. Но теперь она понимает: главный изъян в ее плане заключается в том, что такой смелый и увлеченный мужчина никогда не проявит интереса к такой скучной обывательнице, конформистке и мещанке, как она.

Поэтому они не знакомятся, вечера тянутся медленно, еле-еле, и лед нарастает на ветвях деревьев, как раковины морских желудей. Всю зиму одно и то же: когда у него выключен свет, он наблюдает за ней; когда у нее выключен свет, она наблюдает за ним. В те вечера, когда ее нет дома, он чувствует себя подавленным, несчастным, а может, даже немного жалким; он смотрит на ее окно и осознает, что время летит слишком быстро и возможности упущены, что он проигрывает гонку с той жизнью, которую хотел бы вести. В те вечера, когда его нет дома, она чувствует себя брошенной, чувствует, что мир снова нанес ей удар; она рассматривает его

окно, будто аквариум, надеясь увидеть, как из мглы выплывет что-то необычайное.

И вот они прячутся в полумраке. На улице сыплет пухлый тихий снег. Они оба сидят в одиночестве, каждый в своей маленькой студии, в своем ветхом доме. У обоих выключен свет. Оба караулят друг друга. Ждут каждый у своего окна. Вглядываются через переулок в темные квартиры и, сами того не зная, смотрят друг на друга.

**И**Х ДОМА никогда не задумывались как жилые. Его дом изначально был заводом. Ее — складом. Те, кто их проектировал, не предполагали, что здесь будут жить люди, и поэтому не обеспечили этим людям вид из окон. Оба здания построены в 1890-х годах, использовались по назначению до 1950-х, были заброшены в 1960-х и после этого стояли пустыми. Длилось это до января 1993 года, когда их вдруг решили изъять и приспособить для новых нужд — обустроить дешевые квартиры и студии для голодающих художников, — а его работа заключается в том, чтобы задокументировать этот процесс.

Он должен стать памятью здания, запечатлеть убожество, царившее здесь до ремонта. Очень скоро бригады рабочих — слово “рабочие” трактуется достаточно вольно и применяется к поэтам, художникам и бас-гитаристам, которые вкалывают в обмен на снижение арендной платы, — приступят к уборке, зачистке, покраске и вывозу мусора, чтобы сделать помещение пригодным для жизни. И вот он бродит по самым грязным и обшарпанным уголкам бывшей фабрики с взятым напрокат фотоаппаратом и фиксирует развалины.

Он идет по длинным коридорам пятого этажа, и с каждым его шагом вверх поднимается облачко пыли и трухи. Он фотографирует грязь и разбросанные повсюду обломки потолочной плитки, штукатурки и кирпича. Фотографирует замысловатые граффити. Фотографирует разбитые окна и шторы, истлевшие до волокнистых лент. Он боится наткнуться на какого-нибудь спящего сквоттера и обдумывает, что лучше делать в такой ситуации — идти тихо или топтать. Если идти тихо, то, возможно, получится избежать

конфликта. С другой стороны, если топать, сквоттер может проснуться и удрать.

Он останавливается, когда его внимание привлекает солнечный луч на стене — полоса на старой краске, которая постепенно отслаивается, морщась и покрываясь тысячами трещинок. Спустя сто лет краска рвется на свободу, и текстура напоминает ему кракелюры на старых портретах голландских мастеров. А еще она напоминает ему нечто куда более прозаическое — маленький пруд на отцовском ранчо, который засушливым летом высыхал, обнажая на дне вязкую грязь, и эта грязь, затвердевая на солнце, растрескивалась на маленькие причудливые фракталы. Краска выглядит точно так же, как рассохшаяся земля, и он снимает ее сбоку, чтобы взгляд зрителя двигался вдоль глубоких борозд с шелушащимися краями — это не столько фотография *чего-то*, сколько фотография *о чем-то*: о возрасте, о переменах, о перевоплощении.

Он идет дальше. Он решает все-таки топать, сомневаясь, что сможет идти тихо в этих армейских ботинках — увесистых, со стальными носами, купленных по дешевке; они явно необходимы среди торчащих из пола гвоздей и осколков стекла, свидетельствующих о веселой ночи с битьем пивных бутылок. Вообще, думает он, маска бы тоже не помешала: тут полно пыли, грязи, а еще, наверное, плесени, грибов, токсичного свинца и опасных микробов — в воздухе висит неподвижное мутное облако, превращающее солнечный свет в мерцающие полосы; в пейзажной фотографии их назвали бы “лучами Бога”, но здесь это нечто куда более кощунственное. Может, за лучи смога и сойдет.

А еще повсюду шприцы. Он находит множество шприцев, которые кто-то сгреб в аккуратные кучки в темном дальнем углу, старательно собрав и опорожнив, так что только на кончиках иглолок остался темный осадок, и фотографирует их с наименьшей глубиной резкости, на какую только способен объектив, чтобы изображение получилось почти совсем размытым — это, по его мнению, изящно воспроизводит самоощущение бедолаг, приходящих сюда за дозой. Героин вызывает у местных странную смесь любви и ненависти — люди иногда жалуются на шприцы в парке и на заброшенные здания дальше по улице, которые в народе называют просто притонами, потому что там полным-полно нарको-

манов. И при этом большинство художников, живущих с ним в одном доме, хоть время от времени и возмущаются по поводу героя, по виду как будто и сами употребляют. И часто. Тощие, нечесанные, бледные, с ввалившимися глазами — именно так и выглядят те, кто то и дело колется. Собственно, поэтому он здесь и поселился; хозяин дома подошел к нему на его первой выставке и спросил:

- Ты Джек Бейкер?
- Да, — сказал он.
- Фотограф?
- Ага.

Это была осенняя выставка в Школе Чикагского института искусств. Там были представлены работы студентов, поступивших на “Изобразительное искусство”, и из пары десятков первокурсников Джек оказался единственным, кто занимался в основном пейзажной фотографией. Остальные или были непомерно талантливыми художниками-экспрессионистами, или делали сложные скульптуры из разных материалов, или специализировались на видеоарте и собирали свои инсталляции из хитроумно соединенных телевизоров и видеомагнитофонов.

А Джек снимал на “Полароид”.

Снимал он деревья.

Деревья у него дома, в прерии, росли в суровых условиях, их стволы клонились и изгибались в разные стороны от неумолимого ветра.

Девять из этих снимков были вывешены квадратом три на три на белой стене галереи, и стоявший рядом Джек ждал, когда кто-нибудь заговорит с ним о его творчестве, но никто и не пытался. Уже несколько десятков коллекционеров в дорогой одежде прошли мимо, когда какой-то бледный человек в драном белом свитере и грубых ботинках с незавязанными шнурками вдруг остановился и представился. Его зовут Бенджамин Куинс, он седьмой год исследует новые медиа, сейчас как раз работает над магистерской диссертацией — для первокурсника Джека все это казалось невообразимой вершиной академических достижений. Бенджамин был в буквальном смысле первым, кто обратился к Джеку с вопросом, и вопрос этот звучал так:

— Значит, деревья?

— В тех местах, откуда я родом, сильные ветра, — сказал Джек. — Поэтому деревья растут кривыми.

— Ясно, — отозвался Бенджамин, щуря глаза за большими круглыми очками и лениво потирая подбородок с пробивающейся кое-где жесткой щетиной. Его шерстяной свитер был растянут, местами продырявлен и протерт почти насквозь. Немытые жидкие волосы цвета сена так отросли, что их приходилось постоянно заправлять за уши. — А откуда ты родом? — спросил он.

— Из Канзаса, — сказал Джек.

— А. — Бенджамин кивнул, как будто эти слова подтверждали что-то важное. — Средний Запад.

— Да.

— Главные поставщики зерна в Америке.

— Все так.

— Канзас. Там кукуруза или пшеница? Никак не соображу.

— Ты знаешь песню “Дом на ранчо”?

— Конечно.

— Вот это примерно оно и есть.

— Молодец, что свалил оттуда. — Бенджамин подмигнул ему и некоторое время изучал фотографии. — Я смотрю, эти работы никому не интересны.

— Ну спасибо.

— Это не оценочное суждение. Я просто хочу сказать, что эти фотографии, скорее всего, не пользуются популярностью у этой конкретной аудитории. Я прав?

— Люди в основном задерживаются на пару секунд, мило улыбаются и идут дальше.

— И ты же понимаешь почему?

— Не особо.

— Потому что полароидные снимки — это не ценное вложение.

— Что-что?

— Они не продаются. Ни одна такая работа ни разу не выставилась на “Сотбис”. Это фотографии массового производства, мгновенные, дешевые, недолговечные. Химические реактивы разлагаются, изображение блекнет. Полароидный снимок — товар ненадежный. А эти люди, — Бенджамин неопределенно обвел ру-

кой всех остальных в зале, — называют себя коллекционерами, но лучше было бы сказать “инвесторы”. Они рабы капитализма. Меркантильные до мозга костей. Они хотят покупать задешево и продавать задорого. Твоя проблема в том, что продаваться задорого эти фотографии не будут никогда.

— Честно говоря, об этом я не думал.

— Молодец.

— Мне просто нравились эти деревья.

— Должен признаться, я восхищаюсь твоей искренностью.

Ты не из подобострастных холуев. Это круто. — Тут Бенджамин подошел ближе, положил руку Джеку на плечо и понизил голос: — Слушай. У меня есть дом в Уикер-парке. Бывший металлургический завод. Я купил его за доллар. Банк просто хотел его списать. Ты знаешь Уикер-парк?

— Не знаю.

— Это на Северной стороне. Минут пятнадцать на поезде. Всего шесть остановок по синей ветке, и попадаешь в совершенно другой мир.

— Другой в каком смысле?

— Прежде всего — реальный. Наполненный содержанием. Вот где творится настоящее искусство, а не пресмыкательство перед инвесторами. И настоящая музыка, не это фальшивое говно, которое крутят по радио. Я ремонтирую дом, все внутри переделываю начисто, чтобы превратить его в кооператив для творческих ребят. Назову его “Цех”. История эксклюзивная, все только по приглашениям, ничего шаблонного и заурядного, никаких тебе богатеньких тусовщиков и яппи.

— Звучит интересно.

— Ты сидишь на героине?

— Нет.

— А выглядишь так, будто сидишь. То, что надо. Так ты согласен?

Впервые в жизни худоба и тщедушность пошли Джеку на пользу — он получил квартиру в Уикер-парке, где живет бесплатно в обмен на услуги фотографа, причем еще и среди музыкантов, художников и писателей, которые в основном тоже выглядят так, будто сидят на героине. С жильем Джеку очень повезло, и он



приходит к выводу, что, несмотря на убогое состояние дома, несмотря на пронизывающий холод темной и унылой чикагской зимы, несмотря на то, что в этом районе то и дело происходят ограбления, в парках якобы бродят наркодилеры, а местные враждующие банды время от времени устраивают разборки, ему здесь хорошо. Это его первая зима вдали от Канзаса, и даже не верится, что можно чувствовать себя таким живым, таким всеобъемлюще, по-настоящему, небывало свободным. Это шумный, грязный, опасный и дорогой город, но ему здесь нравится. Особенно ему нравятся звуки: рев поездов на эстакаде, гудки нетерпеливых таксистов, визг полицейских сирен, стоны льдин на озере, трущихся о бетонные берега. И еще ему нравятся ночи, когда шум стихает, когда город замирает и укутывается в метель, роняющую такой густой и медленный снег, какого он раньше никогда не видел, и машины на обочинах превращаются в сугробы, а небо рассеивает оранжевый свет фонарей, и каждый шаг звучит с приятным сухим хрустом. Ему нравится ночной город, особенно когда он выходит из Института искусств и смотрит на Мичиган-авеню и величественные здания, в пасмурные дни достающие до облаков, на их гигантские плоские фасады, испещренные сотнями крошечных желтых квадратиков окон, за которыми работают допоздна.

Это странное чувство — чуть ли не впервые ощущать себя живым, понимать, что до этого момента он не жил, а просто существовал.

В Чикаго он знакомится с искусством вживую (у него дома в музеи не сходишь), бывает в театрах (в школе, где он учился, ни разу не ставили пьес), ест блюда, которые никогда раньше не ел (и даже не знал, что такое существует: песто, пита, эмпадады, вареники, баба гануш), слушает, как однокурсники увлеченно спорят, кто лучше — Джон Эшбери или Фрэнк О'Хара? Арне Несс или Ноам Хомский? Дэвид Боуи или кто угодно другой? (В Канзасе за такие споры можно было бы нарваться на непонимающие взгляды, а то и на взбучку.) А песни, вышедшие этой зимой, всегда будут возвращать ему то самое чувство открытости миру и свободы; в строчке, которую орут *Rage Against the Machine*, — “Пошли вы, я слушать не буду!” — очень точно воплощается его новый вольный дух, и даже примитивные коммерческие радиохиты вроде *Life*

*Is a Highway, Right Now* и *Finally* кажутся особенными и значимыми, а тема из “Аладдина”, которая бесконечно крутится в эфире, звучит чуть ли не как гимн Чикаго: для Джека этот город — действительно *волшебный мир*.

(Он, конечно, никогда бы никому не признался, что мурлычет себе под нос мелодию из диснеевского мультфильма, а иногда и напевает слова, принимая душ, и более того, что она вселяет в него уверенность. Нет, эту тайну он унесет с собой в могилу.)

Он любит городской шум, потому что в нем есть нечто обнадеживающее, подтверждающее факт существования других людей, соседей, соотечественников. А еще есть нечто приятное в том, чтобы выработать к нему невосприимчивость, спокойно спать по ночам, не вздрагивая от гудков, голосов, воя сигнализаций и полицейских сирен за окном, — вот отличительный признак выхода на новый уровень бытия. Дома единственным звуком было дыхание ветра — безжалостного, незатишающего ветра прерий. Но время от времени после захода солнца сквозь ветер можно было слышать лай и завывания койотов, каждую ночь рыскавших по окрестностям. Иногда вой стаи неожиданно и жутко стихал, оставался только один голос, и он звучал то отчаянно, почти как визг, то жалобно, почти как скулеж, и Джек, который еще не спал и все слышал, несмотря на натянутое на голову одеяло, прекрасно понимал, в чем дело. Койот повис на заборе.

Вот как это происходит: перескакивая через ограду из колючей проволоки, койоты иногда подпрыгивают недостаточно высоко и цепляются за шипы в месте сочленения задних лап и туловища, где у псовых есть своего рода злополучная ямка. Их передние лапы тянутся к земле, не достают, колотят по воздуху, задние дергаются, и койоты так и остаются висеть, несмотря на яростные брыкания, потому что, в отличие от других животных, природа не наделила их достаточной гибкостью и настолько подвижными суставами, чтобы они могли высвободиться. Койоты не умеют извиваться, не умеют орудовать задними лапами, по сути, предназначенными только для отталкивания, и поэтому болтаются на заборе всю ночь. А поскольку болтаются они на колючей проволоке, очень велика вероятность, что они налетели на острые, как ножи, когти забора, которые теперь впиваются в мягкое, уязвимое

брюхо, и чем больше койоты бьются, лягаются и корчатся, тем больше шипы терзают их внутренности, и в конце концов они умирают, истекая кровью, а ветер разносит их вопли на многие мили. Джек видит их по утрам — они висят, как белье на веревке.

По сравнению с этим сирены Чикаго прямо-таки подарок судьбы. Даже грабежи — приемлемая плата за вход в этот мир.

Джека еще не грабили. Перебравшись в Уикер-парк, он окончательно довел до ума грозный имидж, который должен отпугнуть грабителей: ношенная одежда, купленная у Армии спасения, множество татуировок, нечесанные волосы, уверенная походка городского жителя и решительный холодный взгляд поверх сигареты, почти всегда торчащей у него изо рта, — все это, как надеется Джек, явственно сигнализирует: “Отвали”. Он не хочет, чтобы его ограбили, и в то же время осознает, что вероятность быть ограбленным, как ни странно, придает этому району особую привлекательность. Художники переезжают сюда не вопреки, а благодаря опасности. Они к ней готовы. По словам Бенджамина Куинса (который может рассуждать на эту тему всю ночь напролет), Уикер-парк — это чикагский ответ Монмартру: дешевый, неряшливый, затрапезный и поэтому живой.

А поскольку неприглядность Уикер-парка принято считать достоинством, Джек пытается запечатлеть на своих фотографиях именно это: разруху и упадок. Он заглядывает в коридоры, бывшие офисы и складские помещения пятого этажа в поисках свидетельств жизни на грани. Потрескавшаяся краска. Брошенные шприцы. Выбитые окна. Побуревшие шторы. Осыпаящаяся штукатурка. Пыль, за годы осевшая таким толстым слоем, что теперь похожа уже не на пыль, а на песок.

— Цепляет, — говорит позже Бенджамин, рассматривая фотографии.

Середина зимы, они на крыше дома. Джек дует в сложенные чашечкой замерзшие ладони. На нем все то же тонкое черное пальто, а под него он надел все свитеры, какие у него есть. На Бенджамине большая парка, такая надутая, что похожа на воздушный шар. Его щеки арбузно-розового цвета, а куртка явно теплая и мягкая и, скорее всего, набита пухом — материалом, о котором Джек слышал, но который плохо представляет.

Бенджамин смотрит на фотографии, а Джек смотрит на серый пейзаж вокруг, на редких пешеходов и машины, на горы грязного снега, на идеально прямые улицы и переулки, уходящие к самому озеру. Они стоят с восточной стороны здания, с той, что обращена к девушке в окне. К безымянной *ней*. Джек заглядывает в ее квартиру. Сейчас ее нет дома, но этот новый вид сверху до странности будоражит. Он замечает коврик, который она положила на полу возле окна, невидимый с его обычной наблюдательной позиции на четвертом этаже. И этому новому факту он придает большое значение: *она покупает ковры*.

Он хочет знать о девушке в окне все. Но он никого не расспрашивал о ней, потому что не может придумать, как задать вопрос, не выдав, что он иногда за ней подглядывает, — а этой своей привычки он стыдится только потому, что знает: другие его пристыдили бы.

Бенджамин все еще разглядывает фотографии:

— Надо их в интернете опубликовать.

— Хорошо, — говорит Джек, и в этот момент в переулок под ними сворачивает какой-то мужчина. В руке у него большая черная сумка, и, судя по тому, как он ковыляет, либо сумка настолько тяжелая, что мешает ему идти, либо он сильно пьян.

— Что такое интернет? — спрашивает Джек.

Бенджамин поднимает взгляд:

— Это ты сейчас серьезно?

— Ну да. Что это?

— Интернет. Ну. Высокоскоростная инфомагистраль. Гипертекстовое глобальное цифровое киберпространство.

Джек кивает.

— Честно говоря, в этих терминах я тоже не очень разбираюсь, — говорит он.

Бенджамин смеется.

— У вас в Канзасе, что, до сих пор компьютеров нет?

— Моя семья решила, что нам это не надо.

— Ладно, в общем, интернет. Как объяснить-то? — Он на секунду задумывается, потом продолжает: — Ты же знаешь эти рекламные афиши музыкальных групп, которые лепят на все телефонные столбы?

- Ну.
- Вот интернет выглядит как эти афиши, только представь, что они не на телефонном столбе, а внутри него.
- Что-то я не догоняю.
- Представь, что они находятся внутри проводов, перемещаются со скоростью света, связаны между собой, взаимодействуют, обмениваются данными и доступны любому человеку в мире.
- Любому?
- Любому, у кого есть компьютер и телефонная линия. У меня были посетители из Англии, Австралии, Японии.
- Зачем людям в Японии твоя афиша?
- Изгой есть везде, друг мой. Непонятые, непопулярные, инакомыслящие, недовольные, фрики. Благодаря интернету мы находим друг друга. Это удивительный альтернативный мир. Там не нужно быть конформистом и подстраиваться под стандартные правила. Ты можешь оставаться самим собой, странненьким сумасбродом. Так что там все честнее, не так фальшиво, более реально.
- Более реально, чем что?
- Чем мир. Искусственно созданный аквариум, в котором мы живем. Весь этот аппарат угнетения, нацеленный на получение прибыли и контролирующий сознание.
- Ого. Чувствую, афиша у тебя что надо.
- Современные технологии.
- И о чем же ты пишешь? О “Цехе”?
- Типа того, но еще о районе и о его энергии, о том, что у нас тут царит дух борьбы с истеблишментом. Хочешь посмотреть?
- Конечно.
- Я тебя научу. Буду твоим интернет-гидом. Вытащу тебя из восьмидесятых.
- Спасибо.
- Не хочешь на меня поработать? Мне нужны картинки. Фотографии баров, музыкантов, вечеринок. Крутые люди занимаются крутыми вещами, что-то в этом роде. Ты бы взялся?
- Ну давай.
- Отлично! — говорит Бенджамин, и именно так Джек получает работу и погружается в “новую экономику”, хотя и не совсем понимает, что в ней нового.

Внизу незнакомец с сумкой останавливается за домом, у вело-парковки. Некоторое время он разглядывает пристегнутые к стойке велосипеды, покачиваясь на нетвердых ногах. Потом ставит сумку на землю, расстегивает ее и достает большой болторез, которым быстро и аккуратно срезает замок с одного из самых дорогих на вид велосипедов с десятью скоростями.

— Эй! — кричит Джек.

Незнакомец испуганно оборачивается и вглядывается в переулок. Осматривает окна здания на всех шести этажах, а потом, прикрывая глаза от света, наконец замечает их на крыше, улыбается и машет рукой. Непринужденный дружеский жест, как будто они старые приятели.

И что остается делать Джеку и Бенджамину? Они машут в ответ. И смотрят, как незнакомец убирает болторез в сумку, закидывает ее на плечо, седлает освободившийся велосипед и, вихляя колесами, уезжает.

Бенджамин улыбается, переводит взгляд на Джека и говорит:

— Красиво сработал, засранец.



**НА СТОИТ В ДАЛЬНЕМ УГЛУ** очередного шумного бара, куда ее пригласил очередной парень категоричных взглядов, чтобы послушать очередную группу, которую, по его словам, она обязана полюбить. Сегодня она в “Пустой бутылке” — баре на Вестерн-авеню с большой рекламой пива “Олд стайл” и навесом над входом с надписью: “Музыка/непринужденная атмосфера/танцы”.

Сейчас заявленному соответствует только один параметр из трех.

Музыка тут действительно есть, хотя танцевать под нее нельзя, а непринужденной атмосферой и не пахнет. Она слушает группу, названия которой не знает, потому что не смогла расслышать его из-за шума. Ее спутник *дважды* прокричал название в нескольких дюймах от ее уха, но без толку. Барабанщик и ведущий гитарист, похоже, маниакально стремятся ни в коем случае не дать публике переключить внимание с них на что-то другое. Даже текст песни — что-то про нечеловеческие душевные страдания вокалиста и про его неудовлетворенность жизнью — по большей части теряется в грохоте мощных аккордов, а обезумевший барабанщик, похоже, способен воспроизводить только один простой ритмический рисунок, без усталости лупя по тарелкам. Люди столпились вокруг, не столько танцуя, сколько подергиваясь. Напитки в баре приходится заказывать жестом.

Всякий раз, когда открывается дверь, врывается ледяной воздух, и поэтому она осталась в варежках, шарфе и шерстяной зимней шапке, которую натягивает пониже на уши, чтобы приглушить крошечный ад на сцене хоть на несколько благословенных децибел. Около половины посетителей бара вышли на улицу,

предпочтя холод шуму. Они стоят, съезжившись, плотно прижав руки к телу и сдвинув ноги — точно мумии в снегу. Это типичный для Чикаго зимний вечер, настолько леденяще-морозный, что приводит в отчаяние, настолько суровый, что стоящие на тротуаре то и дело не могут удержаться от причитаний. “Блин, как же холодно!” — бормочут люди, притопывая ногами. Холод пробирается в обувь и остается там на весь вечер.

Сейчас играет не та группа, ради которой она пришла. Та, судя по всему, будет выступать в конце, и это должно стать гвоздем программы, хотя ее спутник отказывается раскрывать карты. Не хочет портить сюрприз. Он хочет, чтобы ее эмоциональный отклик от первого прослушивания был, как он выразился, незамутненным. Он все решает за нее и, видимо, считает, что она этому рада. Она стоит рядом, пьет пиво и, поскольку разговаривать из-за шума невозможно, просто ждет.

Кирпичные стены “Пустой бутылки” закрыты постерами, афишами и наклейками, которых так много и которые наклеены так густо, что при внимательном разглядывании мозг отказывается их воспринимать. Потолок обшит металлической плиткой, за исключением зоны над сценой — там в нескольких футах над головами музыкантов прикреплены звукопоглощающие пенополиуретановые панели, напоминающие ячейки коробок из-под яиц. Сцена выкрашена в матовый черный цвет, по бокам громоздятся огромные колонки. В баре продаются девять сортов разливного пива, стакан — полтора доллара.

Сюда — в одно из местных заведений, известных серьезной музыкой, — ее неоднократно приглашали парни в надежде произвести впечатление. Сегодняшний спутник — серьезный, смысленный, степенный, в нем есть некоторая чинность, которую можно было бы назвать напряженностью; он учится на последнем курсе, расчесывает светлые волосы на пробор ровно посередине, носит очки а-ля Джон Леннон и свитер с узором поверх рубашки с другим узором; зовут его Брэдли (“Называй меня Брэд”) — сел рядом с ней на утренней лекции по микроэкономике, и толстые рукава их пуховиков прижимались друг к другу целых пятьдесят минут, а грязные лужицы растаявшего снега под ботинками в конце концов слились в одну. После лекции — посвященной подробному



разбору теории ожидаемой полезности, модели неприятия риска и тому, как люди делают выбор в условиях неопределенности, — она почувствовала его взгляд, пока они собирали вещи, а когда посмотрела на него в ответ, он раздраженно закатил глаза и вздохнул: “Скукота-а-а”, и она улыбнулась, хотя лекция совсем не показалась ей скучной, и потом он вышел из аудитории следом за ней, спросил, есть ли у нее планы на вечер, потому что, если нет, в “Пустой бутылке” будет выступать клевая молодая группа, и он знаком с тамошним барменом — это означало, что она сможет заказать выпивку, хотя по возрасту еще не имеет права, — а когда она проявила смутный интерес, он засыпал ее подробностями и сказал, что она просто обязана послушать эту группу сейчас, сегодня, пока они еще играют чистую музыку, пока про них не говорят на каждом углу, пока пагубное влияние популярности и денег не испортило и не развратило их. Ну ладно, она согласилась встретиться с Брэдом в девять, и, когда пришла, он заказал пиво и спросил: “Так что, ты любишь музыку?” И она сказала: “Конечно, люблю”. А потом ей пришлось это доказывать. Он начал ее проверять: а эту группу ты знаешь, а ту? *Fugazi, Pavement, Replacements, Big Star, Tortoise, Pixies, Hüsker Dü* — причем последнее название он произнес так четко, что она даже расслышала умлауты, — и когда она ответила, что никого из них не знает, он с жалостью покачал головой и, конечно же, выразил готовность ее просветить. Оказалось, что у Называй-меня-Брэда большая коллекция редких виниловых пластинок, о которой он очень хочет ей рассказать, и еще больше хочет показать ей эту коллекцию лично — у него в квартире целая стена выделена только под самые редкие, самые гениальные, самые бунтарские пластинки, под драгоценные записи, о которых почти никто не слышал и которые в полной мере не оценены...

Честно говоря, тут она перестала слушать. Брэд уже не ждал ее реакции, чтобы продолжать свой монолог, — от него исходило ошутимое сексуальное беспокойство, низкочастотные волны паники, и поэтому она просто отвлеклась, пока экспрессивный гитарист не прервал Брэда напряженным риффом, после чего тот притих и на сцене начались какие-то завывания.

Она не сказала Брэду, что единственная причина, по которой клевая молодая группа вызвала у нее интерес, — это большая ве-

роятность увидеть на концерте *его*, того парня в окне, парня с другой стороны переулка. И действительно, когда она пришла сюда, он оказался здесь, в первом ряду, с фотоаппаратом, и она почувствовала какое-то шевеление внутри; наверное, это люди и имеют в виду, когда говорят: “У меня сердце затрепетало”, правда, на словах звучит куда приятнее, чем ее ощущение — у нее сердце не то чтобы трепещет, скорее плавится.

Каждый раз, встречая его, она робеет, хотя и не считает себя робкой. Она видит его поздними вечерами в “Пустой бутылке”, или в клубе “Рейнбо”, или в “Лаунж акс”, или в “Филлис мюзикл инн”, с фотоаппаратом, за работой, и наблюдает за ним, пока его безразличие к ее заинтересованности не становится невыносимым: *почему ты меня не замечаешь?* Такое ощущение, что ее лицо освещает прожектор, и свет становится тем ярче, чем дольше она смотрит, но он никогда ее не видит. Он всегда в первом ряду, всегда поглощен своим фотоаппаратом, который держит на уровне колен, снимая вокалистов и соло-гитаристов снизу, чтобы они выглядели впечатляюще.

Она видела его работы в интернете, на одной из электронных досок объявлений, и именно так наконец узнала его имя. *Фотографии Джека Бейкера*. Он всегда стоит у самой сцены — а иногда даже на сцене, шелкает толпу, стоя рядом с барабанщиком, — когда популярные местные группы играют свои лучшие концерты, а потом обычно уходит из бара вместе с ними, и это окончательно убеждает ее, что она не его поля ягода.

Здесь, в Чикаго, она никто.

Ее не приглашают на афтепати, которые, как она знает, устраивают где-то в другом месте. И она знает, что их устраивают, потому что видела на той доске объявлений фотографии Джека Бейкера, и на них запечатлен разгул, творящийся где-то рядом, но неизвестно где. Что может быть хуже, чем знать, что люди веселятся, но не приглашают ее повеселиться с ними? Ее зовут Элизабет Огастин — *из литчфилдских Огастинов*, — хотя репутация ее семьи имеет вес только в определенных кругах, а сюда эти круги не простираются. Теперь она просто безымянная первокурсница университета Де Поля, неприметная чужачка, вечно на втором плане, не погруженная в местный музыкальный контекст, и поэтому,

чтобы узнать, где найти Джека Бейкера и остальную тусовку, ей нужна помощь поклонников — таких, как Брэд, который наклоняется к ней в момент краткого затишья, пока гитарист настраивает инструмент, и поясняет, что музыка сегодняшней клевой группы отличается от *рока*, *альтернативы* и *гранжа*, — отличается чем-то таким, в чем она явно не разбирается. Для нее это не музыка, а сплошной шум, но Брэд настаивает, что нет, на самом деле это характерное для Сиэтла звучание, то, что сейчас захватывает хит-парады радиостанций и журнала “Билборд”, совсем не похоже на чикагское, и оно, по его словам, менее коммерциализировано, приближено к народным джазовым корням, не так широко распространено и выдержано в духе инди. Это отход от хардкора Восточного побережья, который давно деградировал, и от гранжа Западного побережья, который вот-вот деградирует. Это самобытное направление, зародившееся в глубинке и не развращенное большими деньгами. Она никогда раньше не задумывалась о *terrare* рок-музыки, но в последнее время много размышляла о пагубном влиянии денег и о том, что желание сбежать от своей богатой семьи с их вечной жадностью — а следовательно, от бесчеловечной жестокости и стремления принести остальных в жертву, как того требует жадность, — стало одной из главных причин, заставивших ее порвать со всеми, кого она знала, и отправиться в Чикаго.

Она поклялась, что это в последний раз. Еще до переезда сюда она пообещала себе, что останется здесь навсегда, что наконец построит другую жизнь — *свою собственную жизнь, достойную и честную*, — после детства, проведенного в постоянных скитаниях: подростком она жила в богатых пригородах мегаполисов Восточного побережья, перебиралась с места на место и меняла бесчисленные частные школы, пока ее отец разорял то одну, то другую компанию, проводя ревизии, приобретая активы, устраивая рейдерские захваты, переманивая сотрудников, ликвидируя предприятия, наживаясь и двигаясь дальше; для компании все кончалось банкротством и судебными процессами, а он зарабатывал бешеные деньги и исчезал — это было нечто вроде семейной традиции.

И поэтому она была рада встретить в Чикаго людей, которые восставали против такой грубой меркантильности, а тех, кто

стремился разбогатеть, осуждали за “продажность” и клеймили “овцами”.

Она не хочет быть продажной.

Она не хочет быть овцой.

И все-таки ей бы очень хотелось, чтобы ее приглашали на эти вечеринки.

В это время начинается очередная оглушительная композиция, и Джек фотографирует вокалиста — сначала сбоку, в профиль, потом со спины, потом анфас, встав на колени на танцполе и направив объектив вверх, и тут, словно это было отрепетировано, певец тянется к залу, прижав микрофон к губам, застывает в позе, которая на фотографии явно будет выглядеть просто бомбически, и шепчет в микрофон что-то, что невозможно расслышать, потому что вступает настырный гитарист и все перекрывает. Это выглядит как детская ревность к певцу. Элизабет решает, что выяснять, как эта группа называется, смысла нет — наверняка распадется, причем еще до весны. В этот момент Джек поднимается на ноги и снимает толстый черный свитер, который велик ему размера на два, служит ему повседневной зимней одеждой и от постоянной носки уже протерся до дыр. Под этим свитером другой, тоже черный, но более тонкий.

Что же такого привлекательного в этом парне? Дело, конечно, не просто в том, что он живет через дорогу. Элизабет подозревает, что большинство парней на его месте вызвали бы у нее желание задернуть шторы. Но при виде него у нее возникает необъяснимое чувство узнавания, как будто в нем есть какое-то важное качество, которое она ищет, но которому пока не может дать название. Она приехала в Чикаго с намерением самозабвенно раствориться в оживленной богемной тусовке: пить с поэтами и спать с художниками. (Или наоборот, не принципиально.) Даже необязательно с хорошими поэтами или хорошими художниками, единственный критерий, по которому она выбирает, кого пригласить домой, — чтобы человек был хороший, интересный и бескорыстный, чтобы он этого заслуживал.

Только этим условиям молодые люди в Чикаго пока что не соответствуют.

Но парень из окна, кажется, все-таки другой, в нем ощущаются доброта, мягкость и сдержанность — качества, полностью

противоположные морали, предполагающей, что надо подмять под себя весь мир, от которой Элизабет бежала в Чикаго. Джек Бейкер чуткий — по крайней мере, она думает, что он чуткий человек, чуткий любовник. Она так думает благодаря тому, что видит из своего окна, благодаря мелочам, в которых проявляется его обстоятельность: он до поздней ночи читает романы, поэзию и философию; терпеливо отсматривает множество негативов, пока не найдет нужный; застенчиво прячет лицо за длинной челкой. Ее радует даже то, что он выбрал профессию, которая не требует выпячивать себя. Он всегда будет наблюдать за происходящим со стороны. Фотограф по определению не может быть в центре внимания. Она встречалась с парнями, которые постоянно хотели быть в центре внимания, с такими, как эти музыканты на сцене, с такими, как Брэд, и пришла к выводу, что рано или поздно эта их потребность становится невыносимой.

Наконец группа завершает свое выступление мощным грохотом, очень похожим на тот непрекращающийся грохот, который был до этого, только теперь ударник колотит по тарелкам еще чаще и сильнее. Невозможно подняться до крещендо, если вы и так играли на максимальной громкости, поэтому группа просто ускоряет темп, и бит становится настолько плотным, что из больших усилителей теперь слышны одни помехи. И вот под финальное оргазмическое движение бедер гитариста музыка с визгом обрывается, и солист — впервые за вечер его хорошо слышно — произносит: “Спасибо, Чикаго!” — как будто обращается к битком набитому стадиону “Солджер-филд”, а не к десятку человек, которые прячутся от холода в забегаловке.

Музыканты отключают инструменты, Брэд поворачивается к Элизабет и спрашивает:

— Ну как?

Он скрещивает руки на груди и ждет ответа, и она понимает, что, каким бы ни был этот ответ, его реакция будет очень резкой.

— Оцени по десятибалльной шкале, — говорит она, — насколько сильно родители тебя любили?

— Что?

— По десятибалльной шкале.

— Ну даешь! — бормочет он и неловко смеется.

— Я серьезно.

— Знаешь что? А ты язва, — говорит он, ткнув в нее пальцем, качает головой и расплывается в широкой глупой улыбке. — За словом в карман не лезешь.

И уходит заказать еще пива.

В другом углу бара Джек общается с посетителями. Он подходит к компаниям у стойки, что-то говорит и фотографирует их. Эти его работы она тоже видела в интернете — портреты людей в барах. Они напоминают ей о глянцевого журналах, которые покупали ее родители, в них не менее шести страниц занимали фотографии тех, кто недавно посетил важные вечеринки и поучаствовал в акциях по сбору средств. Разница в том, что в чикагских снимках, как правило, больше иронической отстраненности. Их герои не улыбаются и даже почти никогда не смотрят в камеру. Они держатся так, что кажется, будто они понимают, что их фотографируют, но не утруждают себя позированием. Джек благодарит их и идет дальше.

Теперь он направляется в ее сторону, к дверям, в поисках новых героев для фотографий, его взгляд останавливается то на одном человеке, то на другом, оценивая, и Элизабет гадает, заметит ли он наконец ее, не захочет ли наконец сфотографировать ее. И она решает, что неважно, насколько очевидно ее волнение и насколько плавится все в животе, — она собирается посмотреть на него, посмотреть прямо ему в глаза, потребовать его внимания. Почему-то это кажется рискованным, страшным и опасным, и, когда его взгляд скользит по ней, почти инстинктивно хочется спрятаться. Она никогда так дерзко на него не смотрела, и теперь он быстро оглядывает ее, а потом так же быстро отворачивается. Проходит дальше, не демонстрируя ни узнавания, ни какой бы то ни было заинтересованности.

В этот момент она чувствует себя как человек, которого не пригласили на выпускной бал.

Он выходит на улицу. Стоит ему открыть дверь, как внутрь врывается арктическая волна, которая заставляет всех съежиться, и тогда она осознает, что ее шапка надвинута на глаза, а шарф закрывает рот. Она практически *невидимка*.

Поэтому она снимает шарф и шапку, наскоро расчесывает пальцами волосы и поворачивается к окну у себя за спиной. Почти прижимается к нему лицом, придвигаясь так близко, что ощущает идущий снаружи холод. Она видит Джека — его силуэт, искаженный толстым стеклом, кажется волнистым. Он стоит на краю тротуара — делает снимок, отходит в сторону, делает еще один снимок под новым углом, снова отходит, снова снимает. Люди притворяются, что не замечают его, и тем не менее всегда принимают выгодные позы, чтобы их запечатлели в контрапосте. Он направляет объектив прямо на Элизабет, но между ними плотная толпа, завеса снега, мутный квадрат стекла, и поэтому он ее не видит — или, может быть, нарочно игнорирует, она не знает наверняка.

В этот момент с другого конца бара доносится тихое брэнчание гитары — пара простых аккордов, взятых несколько раз подряд. Элизабет бросает взгляд на сцену, чтобы посмотреть, какая группа будет сейчас играть, и с удивлением видит, что это одна-единственная женщина. Невысокая — едва ли пять футов ростом — худенькая молодая блондинка в заправленной в джинсы майке и кремовом кардигане, с распущенными волосами до плеч. Другими словами, на рок-звезду не похожа. Ее облик разительно отличается от экстравагантной внешности парней из группы, которая выступала несколько минут назад. Эта женщина выглядит настолько непритязательно, что Элизабет даже предполагает, что она просто посетительница, взявшая гитару по пьяни, и что бармен скоро выпроводит ее со сцены. Но нет, бармен не двигается с места, а при первом же звуке гитары Джек Бейкер возвращается и начинает снимать исполнительницу, и становится ясно, что она не разыгрывается, а уже начала выступать, что у нее нет группы и никаких инструментов, кроме гитары, подключенной не к гигантским колонкам, а к одному маленькому усилителю, так что ее трудно расслышать за несмолкающей болтовней. Элизабет подается вперед и вслушивается в странно монотонный голос, в песню, которая, судя по всему, описывает героя настолько не знающего границ в своих желаниях, что он перестал ценить то, что имеет:

*Я смотрю, ты больше не понимаешь  
Что такое быть довольным*

Она не совсем пропевает, но и не совсем проговаривает текст — манера у нее своеобразная, ни то ни се. Нельзя сказать, что она идеально берет все ноты, но и фальшивым ее исполнение тоже не назовешь. Она очень скромно бренчит на своей гитаре и очень буднично поет, без украшательств, без мелодраматизма и без вокальных изысков, свойственных рок-н-рольщикам. Когда Брэд возвращается, Элизабет шепчет ему:

— Кто это?

Он удивленно смотрит на сцену, как будто до сих пор никого там не замечал.

— Никто, — говорит он. — Так, паузу заполнить.

— Паузу?

— Звезды опаздывают. Она тянет время.

И, пренебрежительно махнув рукой, Брэд продолжает монолог, на этот раз посвященный пяти лучшим в его жизни концертам. Окружающие громко и беззастенчиво разговаривают, и Элизабет напрягает слух, чтобы расслышать музыку. У бара четверо участников предыдущей группы хохочут, почти нарочито демонстрируя, насколько им безразлична исполнительница. А та продолжает бренчать на скромной гитаре, и простенькая мелодия пытается соперничать с гомоном безразличной толпы.

— Пятое у меня *Rolling Stones* в “Сильвердоуме”, — говорит Брэд. — Они были бы выше в рейтинге, но в восемьдесят девятом “Роллинги” были уже не те, что раньше, да и в любом случае “Сильвердоум” тоскливый, как психбольница.

— Угу.

— Четвертые — *Soul Asylum* в “Метро” в июле, которые легко могли бы стать третьими или, может, даже вторыми, если бы не толпы яппи в баре, оружие *Runaway Train*, как будто больше ничего не знают.

Брэд продолжает свой долгий подъем по строчкам рейтинга, и для человека, утверждающего, что он любит музыку, он слишком многое в ней ненавидит. Певица продолжает петь о ненасытном мужчине, который больше не способен быть счастливым, Элизабет слушает текст и хихикает, и в этот момент Брэд прекращает нудно трещать, смотрит на нее немного обиженно — ему не нравится, когда над ним смеются, — и спрашивает:



- Что тебя так развеселило?
- Эта песня о тебе, — говорит Элизабет.
- Правда? — переспрашивает он и наконец-то с искренним интересом вслушивается в то, что женщина полупоеет-полуговорит своим темным монотонным тембром:

*Как вьюнок, ты тянешься выше  
Но всех денег в мире тебе будет мало*

У Брэда растерянный вид, но Элизабет наплевать. Эта песня как будто написана специально для нее — песня, посвященная той жадности, от которой она всю жизнь пытается сбежать.

Тут дверь открывается, внутрь врывается холодный воздух, и входят три человека, одетые так эксцентрично, что могут быть только участниками той самой звездной группы. Элизабет сразу же выделяет вокалиста: на нем солнечные очки из толстого пластика и нежно-голубая рубашка с рюшками из семидесятых — демонстративно немодная, что, конечно, и делает ее по-настоящему модной — с продуманно расстегнутыми четырьмя пуговицами. Молодые люди входят в бар с такой развязностью, что толпа инстинктивно расступается.

— Они пришли! — говорит Брэд. — Это они!

Женщина на сцене заканчивает петь, пожимает плечами, как бы извиняясь, и говорит: “Кажется, это все” — под жиденькие вежливые аплодисменты. Элизабет смотрит, как она укладывает в чехол свою гитару и вместе с Джеком, который все это время ее фотографировал, направляется к выходу. Певица, ее небольшая свита и Джек — все они явно намылились на какую-то крутую вечеринку.

Элизабет следит глазами за Джеком, пока Брэд продолжает втолковывать, почему ей так повезло оказаться здесь сегодня с ним и познакомиться с этой группой; она кивает, но продолжает смотреть на фотографа с полудетским лицом, и как раз в тот момент, когда Джек проходит мимо музыкантов, он смотрит сначала на них, потом мимо них, на столик в дальнем углу, за которым сидят обычные посетители, и его взгляд останавливается на Элизабет. Она видит, что он видит ее, потому что теперь она без шарфа

и шапки, ощущает трепет узнавания, когда он улыбается и машет рукой, и сама тоже улыбается и машет рукой, а Брэд озадаченно смотрит на нее, и от облегчения у нее чуть ноги не подкашиваются.

И что же делает Джек? Он проходит *мимо* группы, подходит прямо к Элизабет, не замечая клевых музыкантов и сдувшегося Брэда, протягивает руку и впервые обращается к ней.

Он говорит:

— Как насчет?